

Р Ж А



Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Ржа

<https://litres.ru/74158153>

SelfPub; 2026

Аннотация

Пятнадцатилетняя Мира живёт в умирающем посёлке Рудень и снимает его красивый распад для тридцати одной тысячи чужих подписчиков. Мать давно уехала «на время» в столицу, дед пахнет керосином и правит «Нивы» в яме под домом. В белом небе над степью однажды появляется тонкая белая черта — и мир, который жил в стекле её телефона, начинает распадаться быстрее любого позорного музея. По старому железу, по проводам, по всему рукотворному ползёт тихий металлический сад. Чтобы выжить, Мире придётся снять с себя всё, что звенит, — и научиться слушать руками.

Содержание

Часть первая. Музей позора	4
Часть вторая. Металлический дождь	15
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Эдуард Сероусов

Ржа

Часть первая. Музей позора

Мира вела телефон вдоль улицы медленно, как хирург скальпель, снимая то, что через час станет тремя секундами красивого распада.

В кадр вплывал заводской забор, с которого краска сходила лоскутами, как кожа. За ним — водокачка в потёках цвета старой крови. Ржавая вода стояла в колее и держала небо: то же белёсое, без единой чёрточки небо, что висело над Руднем сколько Мира себя помнила. Она чуть повернула руку. Свет лёг правильно.

— Вот за это, — сказала она в микрофон не своим голосом, а тем, тёплым и ленивым, что нравился подписчикам. — за это я и люблю наш город. Эстетика конца света без самого конца света. Дёшево и сердито.

Качели на детской площадке качнулись от ветра и заскрипели — тонко, длинно, на одной ноте. Метроном мёртвого места. Мира поймала их в кадр, подержала ровно столько, чтобы зритель успел ощутить холодок, и не дольше. Она знала это до доли секунды. Три года она кормила ленту Руднем — облезлым, пустым, красивым чужой, посторонней красо-

той, — и лента кормила её. Тридцать одна тысяча человек, которым нравилось смотреть, как умирает то, в чём она жила.

Никто из них здесь не был. В том и фокус. Умиравший город хорош, только если ты не остаёшься в нём на ночь.

Она развернулась, чтобы снять пустой перекрёсток, и тогда в верхнем углу кадра появилась черта.

Тонкая, белая, чуть изогнутая — будто кто-то провёл ногтем по белёсому небу и оцарапал под ним что-то посветлее. Черта держалась секунду, две, и Мира машинально повела за ней телефон, потому что рука знала раньше головы: это кадр. Черта смазалась в дрожь горячего воздуха у горизонта и пропала за элеватором.

— Ну ниче так, — сказала Мира и опустила телефон.

Она пересмотрела запись прямо на ходу, обрезала, наложила фильтр, притушила небо до цвета снятого молока. Черта на монтаже вышла даже лучше, чем живую: загадочно, чуть тревожно, идеально под тот звук, что сейчас у всех в тренде. Она подписала: «когда даже метеоры выбирают эстетичную смерть ##» — и отправила в ленту, не задумавшись ни на секунду о том, что метеоры так не летают: не оставляют черту, что стоит, а потом гаснет, будто её выключили.

Лайк упал через восемь секунд. Потом ещё. Мира шла домой, глядя в экран, и мёртвый город тёк мимо неё, неснятый и оттого несуществующий.

Тридцать одна тысяча человек — больше, чем когда-либо

жило в Рудне, — знали, как она смеётся, какой у неё голос, что ей нравится и что бесит. Ни один из них не знал, что живёт она в облезлом посёлке при мёртвом заводе, с дедом, который пахнет керосином и правит чужие «Нивы», потому что мать однажды уехала «на время» и не вернулась. В телефоне Миры была не отсюда. В телефоне она была та, кем хотела быть: лёгкая, столичная, ничья, с гладкой картинкой и без прошлого. Стекло было окном в тот большой яркий мир, куда уехала мать. И через это же окно мать иногда звонила — и тогда два мира на секунду смыкались, и Миры почти верила, что и она там, рядом с матерью, в свете и гуле настоящих дел, а не здесь, в яме, при керосине. Экран держал её на плаву над этой ямой все пять лет. Она ещё не знала, каково это — когда он гаснет.

Дедова яма пахла так, как пахла всегда: горячим маслом, металлической стружкой и чем-то кисло-чистым, вроде вымоченной в керосине ветоши. Миры спускалась в этот запах, как в подвал, — задержав дыхание.

Захар лежал под «Нивой» на низкой тележке, наружу торчали ноги в кирзачах и одна рука, шарящая по бетону вслепую.

— Мир. Подай на семнадцать.

Она встала на пороге бокса и не двинулась. На верстаке лежал разложенный, как на вскрытии, инструмент; между ключами и щупами пристроился ручной магнето — чёрная катушка с рукоятью, которую дед крутил, показывая ей

в детстве синюю искру, будто это был фокус, а не позорный музейный экспонат. Рядом коловорот. Тиски. Всё чёрное от старого масла, всё из того времени, когда вещи были тяжелее человека.

У неё в наушнике тренькнуло. Подписчик, из тех, кто платит за «личку»: у него не запускалась игра, вылетала на загрузке. Он скинул скрин лога. Мира скользнула по строчкам глазами — и увидела ошибку сразу, целиком, как видят опечатку в знакомом слове: не хватало одной библиотеки, конфликт версий, две программы тянули разное. Ей не пришлось думать. Пять лет она читала такие вещи, и они складывались у неё в голове в узор быстрее, чем она успевала назвать хоть одну строчку. «Снеси кэш и поставь вот это», — набрала она и приложила ссылку. «Через минуту заработает».

— Мир, — сказал дед из-под машины. Спокойно, без злости. — На семнадцать.

— Их вон полный стол, — сказала Мира. — Возьми сам.

— У меня руки заняты.

— А у меня.

Рука деда высунулась, легла ладонью вверх на бетон и осталась так — большая, в трещинах, с чёрной каймой под ногтями, которую не отмыть ничем. Он не повторил. Он просто держал ладонь открытой, и от этого молчаливого терпения у Миры под рёбрами что-то сжалось — то ли стыд, то ли злость на этот стыд.

Она подошла, взяла из ряда ключ с цифрой 17 и вложила ему в ладонь, стараясь не коснуться масла.

— Спасибо, — сказал он. Лязгнуло. — Видишь. Не сложно.

— Дед, это не музей, — сказала она, отступая. — Музей — это когда кто-то приходит.

Из-под машины ничего не ответили. Только через паузу рука снова высунулась, положила семнадцатый обратно и без спешки взяла на девятнадцать, и Мира поняла, что он даже не обиделся, — он вообще перестал ждать от неё чего-то другого, и это было хуже обиды.

— Телефон у тебя опять вместо руки, — сказал он в железу, не ей. — Дай руку, Мир. Живую. Однажды пригодится.

— Ага, — сказала она, поднимаясь по ступенькам к свету. — Когда мир рухнет, я знаю, к кому.

Она сказала это, чтобы кольнуть, и вышла, не увидев, как он вылез из-под машины и долго смотрел ей вслед, вытирая ключ ветошью, которую не надо было вытирать.

Мать позвонила в девятом часу, когда Мира лежала на кровати в темноте, а комната плавала в синем свете экрана, как аквариум.

Она увидела имя — «Мама» — и дала телефону прозвонить дважды, три раза, прежде чем взять. Не потому что не хотела. Потому что каждый раз, когда она брала сразу, потом было больнее.

— Мирка. — Голос матери всегда входил ближе кожи, чем

чей-либо ещё; наушник делал его совсем своим, будто мать думала прямо у Миры в голове. — Не спишь. Хорошо. У тебя там как?

— Живём, — сказала Мира. — Дед чинит вечность. Я снимаю руины. Классика.

Мать засмеялась — коротко, устало, и в этой усталости Мира услышала весь тот далёкий яркий мир, из которого мать звонила: коридоры под белым светом, чужие голоса, гул больших машин за стеной, работу, которая важнее. Космическое агентство. Столица. Слова, которые в детстве звучали как заклинание и означали: там, где мама, всё настоящее; здесь, где ты, — понарошку.

— Слушай, — сказала мать, и по одному этому «слушай» Мира уже всё знала. — Я насчёт выходных.

— Ты не приедешь.

— Мир

— Всё нормально. — Мира смотрела в потолок, где по нему ползла синяя тень от экрана. — Я и не готовила фейерверк.

— У нас тут — Мать понизила голос, будто её могли услышать, и в голосе прошла настоящая тревога, не дежурная. — Тут запара. Серьёзная. Я не могу сейчас говорить какая, но это правда не тот случай, когда я выбираю работу вместо тебя, слышишь? Это тот случай, когда я нужна там. Ты же понимаешь разницу.

— Понимаю, — сказала Мира. Она понимала. В том и бе-

да, что она всегда понимала.

Повисло молчание, тёплое и виноватое, и в это молчание, как всегда, вошло другое — то, что Мира не звала, а оно приходило само каждый раз, когда мать говорила «я нужна там».

Ей было десять. Чемодан в прихожей. Дед и мать стояли лицом к лицу, и мать держала Миру за плечо, слишком крепко, как держат то, что вот-вот отпустят. «На время, папа. Пока устроюсь». А дед сказал своё, тихое, каменное: «Железо не врёт. Врёт тот, кто обещает, что само за тебя проживёт». И мать вспыхнула — Мира до сих пор помнила, как у неё дёрнулась щека, — и бросила ему в лицо, холодно и точно, как гвоздь вбила:

«Железо не врёт — твоя присказка. А твои машины врут, папа. Обещают вчера. А Мире нужно завтра».

И увезла своё «завтра» с собой, а Миру оставила во «вчера», в дедовой яме, «на время», которое стало пятью годами.

— Мир? Ты тут?

— Тут, — сказала Мира. — Тут я, мам. Куда я денусь.

— Я приеду. — Голос матери сел, стал ниже, ближе. — Как только это закончится. Обещаю. Мы с тобой нам давно надо просто посидеть. Без экрана.

— «Без экрана», — повторила Мира и коротко засмеялась, чтобы не сделать другого. — Ты сейчас со мной по экрану разговариваешь.

— Знаю. — Мать помолчала. — Это единственное, что

нас держит, Мир. Пусть держит.

Они попрощались обычными словами. Мира отняла телефон от уха, но нить связи разорвать не спешила — просто лежала с погасшим экраном на груди, чувствуя ладонью, как он остывает, и слушала за стеной, в мастерской, редкий стук. Дед что-то правил молотком, по одному удару, с длинными паузами, будто спорил с железом и каждый раз давал ему ответить.

Небо в ту ночь врало.

Мира вышла на крыльцо покурить одну из трёх сигарет, что позволяла себе в неделю, и остановилась с незажжённой в губах. На юго-западе, там, где степь, стоял свет. Не зарево пожара — зарево дрожит, дышит. Этот стоял ровно, как поставленный, — бледное, чуть зеленоватое сияние над самой землёй, будто там, за горизонтом, кто-то оставил открытой дверь в очень ярко освещённую комнату.

За спиной скрипнула дверь. Дед вышел в майке, босиком по холодным доскам, и встал рядом, глядя туда же. От него пахло маслом и сном.

— Метеорит, — сказала Мира, чтобы что-то сказать. В городе весь вечер шутили про метеорит: в чате Рудня кто-то написал «инопланетяне выбрали самую дыру, чтоб не жалко», и все смеялись. — Упал в степи. Уже мемов настрогали.

Дед не ответил. Он поднял лицо и втянул воздух носом — медленно, широко, как втягивают запах дождя за час до дождя. Мира знала эту его повадку и всегда считала её ча-

стью музея: старик, который нюхает погоду вместо того, чтобы посмотреть прогноз.

— Озоном тянет, — сказал он наконец. — Как после грозы. А грозы не было.

— И что?

— И собаки молчат. — Он кивнул в темноту двора, где обычно к ночи заводилась переключка от забора к забору, через весь Рудень, до самой окраины. Сейчас не лаяла ни одна. Тишина стояла плотная, полная, будто на город натянули вату. — Метеорит падает и сгорает, — сказал дед тихо. — А этот стоит.

Мира посмотрела на зеленоватый свет. Он и правда стоял. Не гас, не рос — держался ровно, терпеливо, и от этого его терпения по спине у неё прошёл тот самый холодок, который она умела вызывать у тридцати одной тысячи чужих людей одним точным кадром, — только теперь его никто ей не подстроил, он пришёл сам.

Где-то далеко в степи, на самом краю слышимого, тонко и ровно скрежетнуло железо о железо. Один раз. И смолкло. — Иди спать, Мир, — сказал дед и не пошёл сам.

Она ушла. А он остался на крыльце, босой, и стоял, глядя на свет, что не гас, до самого рассвета, — и утром, когда она проснулась, он всё ещё сидел на ступеньке, а в руках у него, зачем-то принесённый из мастерской, лежал старый ручной магнето.

ИНТЕРЛЮДИЯ

В ту ночь, когда над Руднем прочертилась в небе белая линия, Ольга Захаровна была за девятьсот километров, в зале без окон, и решала, чем по этой линии ударить.

На большом экране висел объект — то, что вошло в атмосферу и село в казахской степи не обломком, а мягко, точно причалило. Военные называли его «изделием». Ольга, замминистра по чрезвычайным технологиям, знала пока одно: оно не отвечает, не движется и медленно, по данным разведки, что-то делает с грунтом вокруг себя.

— Бить нельзя, — сказала эсеница в конце стола. Вера Соболев — та самая, что двадцать лет назад, на закрытом комитете, просила не денег, а осторожности: если однажды придёт самовоспроизводящаяся машина, бить её будет нельзя, только морить. Тогда над Соболев посмеялись. Ольга смеялась вместе со всеми. — Я говорила вам про этот день двадцать лет назад, — сказала Соболев в тишину зала. — Вот он и пришёл. Если это самореплицирующийся зонд, любой удар его не убьёт, а рассеет: каждый осколок понесёт полную схему. Вы разобьёте одну машину — и засеете сотней. Наблюдать. Морить. Не кормить.

За столом усмехнулись. Генерал Ветров — сорок лет службы, ни одной проигранной кампании — ответил устало, как отвечают ребёнку: у нас есть чем испарить эту железу вместе с областью; не размножится то, чего не осталось. И повернулся к Ольге: «Ваше слово, Ольга Захаровна. Технологии — по вашей части».

И Ольга сказала — «бить». Позже, годы спустя, у пуль-та горящего города, она разложит эту секунду по кадрам: как усталость, и карьера, и застарелая злость на выскочку-старуху с её вечным «морить», и вбитая с юности вера, что сила решает всё, — сошлись в одном коротком слове. Она поверила Ветрову, а не Соболю, потому что Ветров обещал победу сегодня, а Соболю — годы терпения. Ольга всю жизнь выбирала сегодня.

Совещание кончилось за полночь. Она вышла в пустой коридор, разбудила телефон — на заставке была Мирка, снятая давно, ещё смеявшаяся ей в объектив. Пятнадцать лет. Ольга помнила её десятилетней — той, что оставила деду «на время», уезжая решать вот такие большие важные дела. «На время» шло уже пятый год. Палец завис над вызовом. Поздно, подумала Ольга, разбужу; позвоню завтра, когда со степью решится. И убрала телефон. Ей казалось, у неё ещё много этих «завтра».

Наутро степь ударили.

Часть вторая.

Металлический дождь

К полудню стало ясно, что это не метеорит, — и узнала об этом Мира, конечно, из телефона, потому что телефон был тем окном, через которое к ней приходил весь мир, включая тот его край, что подступал к ней самой.

Ролик кто-то снял с трассы, дрожащей рукой, из окна фуры. Старый рудный двор на выезде из степи — отвалы, ржавые эстакады, брошенный ещё при заводе кран, — весь этот металлолом, который Мира сама сто раз снимала как декорацию к своему красивому распаду, был жив. Не двигался, как двигается зверь. Он шевелился, как шевелится вода. По ржавым фермам крана вверх бежала рябь — тёмная, ползущая, — и там, где она проходила, металл менялся: вспухал, ветвился, раскрывался. Из рыжей стали лезли наросты, тонкие и блестящие, слишком правильные для ржавчины, слишком похожие на у Мира не было слова, и она подобрала единственное, что подошло: на бутоны. Металлические бутоны. Они раскрывались беззвучно на дрожащей записи, десятками, сотнями, и кран под ними оседал, истаивал, будто его пили изнутри.

Звук на записи был один — сухой, ровный шелест, как дождь по жестяной крыше, только сплошной, без капель.

Шорох раскóбывания.

Мира пересмотрела трижды. На четвёртый раз она заметила то, что заметил бы не всякий: рябь шла не куда попало. Она шла вверх по металлу — от земли к вершине крана, от тонкого к толстому, от ржавого хлама к чистой рельсовой стали эстакады, — так же неотвратно и тупо, как вода находит уклон. Пять лет узоров сложились у неё в голове сами: это не хаос. Это правило. Оно течёт по чему-то, как курсор по ссылке. Она не знала ещё, по чему. Но что по правилу — увидела сразу, и от этого во рту стало железно, будто она прикусила язык.

Она хотела снять свою реакцию — рука сама потянулась развернуть камеру на себя, это был рефлекс, это была её работа, — и не смогла. Впервые за три года палец не нажал.

В комментариях под чужим роликом уже дрались. Половина писала «монтаж», «графика», «сколько заплатили». Другая половина писала одно слово, всё чаще, заглавными: АРМИЯ. АРМИЮ ТУДА. БОМБИТЬ.

А один комментарий, с краю, почти без лайков, Мира прочла и почему-то запомнила. «Только не бейте по нему. Пожалуйста. Кто-нибудь передайте им — только не бейте». Ник был серый, старый, без аватарки. Соболев В. А.

Соболев В. А. Мира наткнулась на это имя во второй раз через час — в эфире, куда переключилась вся страна.

Студия была вылизанная, синяя, с вращающимся логотипом. Ведущий — гладкий, в идеальном пиджаке — сидел на-

против женщины, которую посадили так, будто извинялись, что вообще посадили. Немолодая, за шестьдесят, седые волосы стянуты кое-как, очки она снимала и протираала полкой, снова надевала, снова снимала — руки не находили покоя. Внизу шла подпись: «Соболь Вера Андреевна. Экс-сотрудник программы поиска внеземного разума».

— то есть вы утверждаете, — говорил ведущий с той мягкой улыбкой, которой улыбаются сумасшедшим, — что это, простите, инопланетная машина?

— Я утверждаю, что это самореплицирующийся зонд. — Голос у неё был сухой, точный, усталый голос человека, который говорит одно и то же двадцать лет и двадцать лет слышит в ответ смешок. — Автомат. Он не разумен. У него нет цели, нет злобы, нет плана. Он делает одно: разбирает и копирует себя. Как семя. Как плесень. Вопрос не в том, что это. Вопрос в том, что вы сейчас с этим сделаете.

— А что мы, по-вашему, должны сделать?

— Ничего. — Она подалась вперёд. — Не кормить его. Дать ему исчерпаться. Это единственный способ.

Ведущий откинулся, и улыбка у него стала шире.

— Вера Андреевна, там сейчас военные готовят скажем так, ответ. Вы предлагаете просто смотреть?

— Я предлагаю не делать хуже. — Она сняла очки, и на секунду в кадре стало видно, какие у неё глаза: не сумасшедшие. Испуганные и очень трезвые. — Вы не можете это убить. Вы можете только не кормить. Это разные глаголы,

понимаете? Совершенно разные глаголы. Если вы ударите по нему — вы не убьёте его, вы его посёете. Каждый осколок — это целое семя. Умоляю вас. Передайте это тем, кто решает. Не бить. Морить.

— Спасибо, очень интересно, — сказал ведущий, уже поворачиваясь к камере. — А мы прервёмся на короткую рекламу и после вернёмся с прогнозом.

Экран прыгнул на визгливый ролик про мойку для машин. Мира смотрела на танцующую пену и думала, что женщину в студии не столько не услышали, сколько отключили — переклЮчили, как переключают неудобный трек. И ещё она думала, странно и не к месту, о матери. Мать была инженером в агентстве, из тех, кто «решает». Если эта Соболь двадцать лет кричала «не бить» и её двадцать лет отключали рекламой — значит, где-то там, среди тех, кто решил её отключить, стояла и мать. Мира не знала этого наверняка. Но узел сложился в голове сам, как всегда складывались узлы, и она не смогла его развязать.

За стеной, в мастерской, дед не работал. Он тоже смотрел эфир — Мира слышала тот же голос из его старенького приёмника, — и когда началась реклама про пену, он выключил приёмник одним щелчком, и в его молчании было куда больше согласия с седой женщиной, чем во всём Рудне вместе взятом.

Ударили в шестнадцать сорок.

Весь Рудень высыпал на пустырь за элеватором — оттуда

открывалась степь до горизонта, и оттуда весь город привык смотреть на редкие грозы. Люди стояли толпой, задрав головы, с телефонами наготове, и Мира стояла с ними, и её телефон тоже был наготове, потому что рука не разучилась, даже если что-то в ней самой уже заклинило.

Сначала пришёл звук — не грома, а чего-то ниже грома: далёкий, тяжёлый, рвущий воздух гул. Потом небо на юго-западе прочертили — четыре черты, теперь уже настоящие, стремительные, с дымным следом, летящие туда, где стоял зеленоватый свет. Толпа выдохнула единым горлом.

А потом степь встала.

Она встала стеной огня и земли, беззвучно — звук ещё не долетел, — вспухла чёрно-рыжим грибом, медленно, страшно, красиво, и Мира ощутила удар раньше, чем услышала: он толкнул в грудь глухой тёплой ладонью, качнул толпу, зазвенел в стёклах элеватора. И только за ударом, с запозданием, пришёл сам грохот — обвальный, долгий, катящийся по степи.

Толпа закричала. Это был не крик ужаса — крик торжества. «Есть!» — заорал кто-то рядом, мужик в майке, и вскинул кулак, и рядом подхватили, и вот уже весь пустырь орал «ура», хлопал, свистел, снимал, поворачивал телефоны к себе, чтобы попасть в кадр на фоне победы; кто-то заплакал от облегчения, кого-то обнимали. Гриб над степью раскрылся медленно и величественно, как раскрывается салют, и оседал, оседал вниз тёмным дождём.

Рядом на плечах у отца сидел мальчонка лет пяти и хлопал в ладоши, повторяя за всеми «ура», не понимая слова, радуясь тому, что радуются вокруг. Женщина у элеватора крестилась на оседающий гриб и смеялась сквозь слёзы. Кто-то откупорил припасённое, пустил по рукам; кто-то уже кричал в трубку родне — «слышишь, отбились, отбились»; а один парень вёл прямое включение — «страна, мы его сделали, смотрите все» — и поворачивал телефон то на себя, то на степь, собирая лайки на чужой гибели ровно так, как три года собирала их Мира. Пепел садился на его поднятую руку, на волосы, на экран, и он смахивал его, не глядя, как смахивают снег.

Мира не кричала. Она держала телефон, но не снимала. Она смотрела на оседающий гриб, и внутри у неё, под всеобщим «ура», холодно и ясно, стоял тот чужой комментарий без лайков: каждый осколок — это целое семя.

Она обернулась. Дед стоял чуть в стороне от толпы, отдельно, как всегда стоял отдельно, и не хлопал. Он смотрел на оседающий пепел, и лицо у него было такое, какого Мира у него не видела никогда, — не злость, не «я же говорил», а что-то похожее на скорбь. Он смотрел, как радуется город, и было видно, что он уже знает то, чего город ещё час, может быть, не будет знать.

Пепел оседал. В закатном свете он поблёскивал — мелкие точки, кружащиеся в воздухе, — и оседал на элеватор, на пустырь, на поднятые лица, на телефоны, на волосы, тихо,

как первый снег.

Кто-то поймал блёстку на ладонь и засмеялся: «Смотри, конфетти!»

Дедовы ворота стояли во дворе с тех пор, как Мира себя помнила: железные, крашенные суриком, с вмятиной внизу от давнего удара. Она прошла мимо них сотни раз и ни разу не посмотрела.

На следующее утро она посмотрела, потому что услышала звук.

Тонкий, ровный звон металла о металл. Не удар — пение. Такой звук издаёт бокал, если вести по краю мокрым пальцем, только это был не бокал. Мира стояла посреди двора, ещё в футболке, в которой спала, с телефоном в руке — за ним она и вышла, по привычке проверить ленту, — и лента у неё в руке пузырилась чёрным ужасом со всей страны, но она не смотрела на экран. Она смотрела на ворота.

По суриковой краске, снизу вверх, от вмятины к верхней перекладине, полз тёмный след. Тонкий, ползущий, знакомый — она видела такой вчера на дрожащем ролике, на ржавом кране. Там, где след проходил, краска вздувалась и лопалась беззвучными пузырьками, а под ней железо ворот раскрывалось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.